

Часть третья

Актуальность творцов

Глава 1

Прозрения в романе «Воскресение» Л.Н. Толстого

Вступление

В главе «В мире штормит», уже обращено внимание на то, что исламистские жестокости вряд ли могут нами восприниматься как совсем уж экзотика: вполне благополучные страны изведали разного рода ужасные события в самом недалёком прошлом. В связи с темой о жестокости возникает, вероятно, более узкая, но для некоторых обстоятельств крайне актуальная тема, и эта тема:

уродливое функционирование суда и пенитенциарной системы.

Для этой темы, как и для очень многих других, исключительно интересны наблюдения и мнения Л.Н. Толстого.

Его последний роман «Воскресение» закончен в 1899 году и посвящён совершенствованию личности в процессе встречи с судом и пенитенциарной системой России конца позапрошлого века, с руководителями и чиновниками этой системы, а также и с её узниками. Главный герой романа Нехлюдов вслед за Толстым глубоко вник в сущность этой системы, с самого её верха до самого низа, и люди системы, их поступки и окружающие обстоятельства представлены, не говоря о мастерстве, столь наблюдательно, так детально, как встречается далеко не во всяком журналистском очерке. Как же важно было прочитать этот роман современникам, если и сейчас, в удалении более, чем на столетие, от событий романа, на столетие, переполненное ве-

ликими ужасными событиями, это текст Толстого читается так, как будто он написан только что и имеет к сегодняшней жизни самое непосредственное касательство.

Надо сказать, в обращении к пенитенциарной системе Толстой был не одинок. Видимо, эта тема тогда сильнейшим образом волновала общественность, в особенности же самая возмутительная сторона этой системы – российская каторга. Например, за несколько лет до него (в 1890 году) А.П. Чехов, не жалея сил, внимательнейше обследовал каторгу на острове Сахалин и через пару лет выпустил путевые заметки «Остров Сахалин». В 1897 году В.М. Дорошевич тоже предпринял путешествие на Сахалин и свои впечатления опубликовал в 1903 году в книге очерков «Каторга».

Напомню: Дорошевич – исключительно точный и остроумный журналист, он писал короткими энергичными фразами, почти афоризмами; его статьями, фельетонами не наслаждался только не умеющий читать, они и сегодня увлекательны, многие ещё и актуальны.

Толстой же крайностей каторги совсем не касается, его персонажей судят, держат по тюрьмам и пересылкам, ещё только тащат на каторгу. Тем не менее он раскрывает общественное явление шире и глубже других. Он говорит свободно и гневно!

Его герой Нехлюдов на путях библейской человечности ищет выхода из понятого им громадного ужаса.

Доставлю себе удовольствие процитировать несколько больших фрагментов романа – их необходимо хорошо знать любому, кто хочет понять Россию. И осмелюсь прокомментировать их.

Состояние тех дел

Следующая большая цитата из раздела XIX третьей части романа показывает, как Толстой и за ним Нехлюдов видели современное им состояние суда и пенитенциарной системы:

«То, что <...> видел Нехлюдов, представлялось ему в следующем виде: из всех живущих на воле людей посредством суда и администрации отбирались самые нервные, горячие, возбудимые, даровитые и сильные и менее, чем другие, хитрые и осторожные люди, и люди эти, никак не более виновные или опасные для общества, чем те, которые оставались на воле, во-первых, запирались в тюрьмы, этапы,

каторги, где и содержались месяцами и годами в полной праздности, материальной обеспеченности и в удалении от природы, семьи, труда, то есть вне всех условий естественной и нравственной жизни человеческой. Это во-первых. Во-вторых, люди эти в этих заведениях подвергались всякого рода ненужным унижениям – цепям, бритым головам, позорной одежде, то есть лишались главного двигателя доброй жизни слабых людей – заботы о мнении людском, стыда, сознания человеческого достоинства. В-третьих, подвергаясь постоянной опасности жизни, – не говоря уже об исключительных случаях солнечных ударов, утопленья, пожаров, – от постоянных в местах заключения заразных болезней, изнурения, побоев, люди эти постоянно находились в том положении, при котором самий добрый, нравственный человек из чувства самосохранения совершают и извиняет других в совершении самых ужасных по жестокости поступков. В-четвертых, люди эти насильственно соединялись с исключительно развращёнными жизнью (и в особенности этими же учреждениями) развратниками, убийцами и злодеями, которые действовали, как закваска на тесто, на всех ещё не вполне развращённых употреблёнными средствами людей. И, в-пятых, наконец, всем людям, подвергнутым этим воздействиям, внушалось самым убедительным способом, а именно посредством всякого рода бесчеловечных поступков надими самими, посредством истязания детей, женщин, стариков, битья, сечения розгами, плетьми, выдавания премии тем, кто представит живым или мёртвым убегавшего беглого, разлучения мужей с женами и соединения для сожительства чужих жен с чужими мужчинами, расстреляния, вешания, – внушалось самым убедительным способом то, что всякого рода насилия, жестокости, зверства не только не запрещаются, но разрешаются правительством, когда это для него выгодно, а потому тем более позволено тем, которые находятся в неволе, нужде и бедствиях.

Все это были как будто нарочно выдуманные учреждения для произведения сгущённого до последней степени такого разврата и порока, которого нельзя было достигнуть ни при каких других условиях, с тем чтобы потом распространить в самых широких размерах эти сгущённые пороки и разврат среди всего народа. «Точно как будто была задана задача, как наилучшим, наивернейшим способом развратить как можно больше людей», – думал Нехлюдов, вникая в то, что

делалось в острогах и этапах. Сотни тысяч людей ежегодно доводились до высшей степени разврата, и когда они были вполне разращены, их выпускали на волю, для того чтобы они разносили усвоенное ими в тюрьмах развращение среди всего народа.

В тюрьмах – Тюменской, Екатеринбургской, Томской и на этапах Нехлюдов видел, как эта цель, которую, казалось, поставило себе общество, успешно достигалась. Люди простые, обыкновенные, с требованиями русской общественной, крестьянской, христианской нравственности, оставляли эти понятия и усваивали новые, осторожные, состоящие, главное, в том, что всякое поругание, насилие над человеческою личностью, всякое уничтожение её позволено, когда оно выгодно. Люди, пожившие в тюрьме, всем существом своим узнавали, что, судя по тому, что происходит над ними, все те нравственные законы уважения и сострадания к человеку, которые проповедываются и церковными и нравственными учителями, в действительности отменены, и что поэтому и им не следует держаться их. <...> Дорогой Нехлюдов узнал, как бродяги, убегая в тайгу, подговаривают с собой товарищей и потом, убивая их, пытаются их мясом. Он видел живого человека, обвинявшегося и признавшегося в этом. И ужаснее всего было то, что случаи людоедства были не единичны, а постоянно повторялись.

Только при особенном культивировании порока, как оно производится в этих учреждениях, можно было довести русского человека до того состояния, до которого он был доведён в бродягах, предвосхитивших новейшее учение Ницше и считающих все возможным и ничего не запрещённым и распространяющих это учение сначала между арестантами, а потом между всем народом.

Единственное объяснение всего совершающегося было пресечение, устрашение, исправление и закономерное возмездие, как это писали в книгах. Но в действительности не было никакого подобия ни того, ни другого, ни третьего, ни четвёртого. Вместо пресечения было только распространение преступлений. Вместо устрашения было поощрение преступников, из которых многие, как бродяги, добровольно шли в остроги. Вместо исправления было систематическое заражение всеми пороками. Потребность же возмездия не только не смягчалась правительственными наказаниями, но воспитывалась в народе, где её не было. <...>

И что более всего удивляло его, это было то, что все делалось не нечаянно, не по недоразумению, не один раз, а что все это делалось постоянно, в продолжение сотни лет, с той только разницей, что прежде это были с рваными носами и резаными ушами, потом клеймёные, на прутах, а теперь в наручниках и движимые паром, а не на подводах.»

Комментарий о пытках и курьёз Дорошевича

Судя по многочисленным публикациям последних лет, наверное, практически тот же текст Толстой мог бы написать и о сегодняшнем состоянии этих дел в России. Разве что исчезли бы *полная праздность, материальная обеспеченность, цепи, бритые головы, сечение розгами, плетьми*. Что имел в виду Толстой под *полней праздностью*, не понятно, ведь каторга – это каторжные работы. И о ценности ему современной *материальной обеспеченности* судить не могу. Исчезновение же некоторых издевательств столь же прекрасно, как отвратительно появление новых. Теперь бросаются в глаза бесчисленные сообщения о моральных и физических пытках: тут множество ступеней от манипуляций сроками заключения и срока до садистских издевательств и избиений, которые выполняют как служащие системы, так и натравливаемые ими заключённые.

О пытках опубликовал замечательный очерк уже упомянутый Дорошевич. Пересказывать Дорошевича бессмысленно. Вот начало очерка «Пытки» (цитируется по В.М. Дорошевич, Рассказы и очерки, Московский рабочий, 1966, где дана ссылка на Собрание сочинений, том IX, Судебные очерки, 1907):

«Существуют ли у нас пытки?

Речь идёт не о «рижских застенках».

Я говорю о «правосудии», а не о «расправе».

Речь идёт «о временах мирных».

– Существуют ли у нас в обычновенное время в уголовных делах пытки?

Всякий судейский с негодованием ответит:

– Пытки в России уничтожены ещё в конце XVIII века.

А вот что отвечают факты.»

Далее описан целый ряд нешуточных пыточных историй и среди них курьёзный случай пыток на стадии, так сказать, дознания, производимого с высоты бесконтрольной вседозволенности:

«...это было в участке, в Николаеве, сейчас же после еврейского погрома.

Пристав любезно давал мне «сведения» и сам же предложил мне присутствовать при допросе:

– Мы этих мерзавцев не покрываем!

На третий день действительно уже не покрывали.

Пристав сидел за столом.

Перед ним в числе письменных принадлежностей лежала нагайка.

Вводят «задержанного».

– Имя, звание, фамилия. Был жидов?

Ответ у всех один, слово в слово:

– Помилте, Ваше высокоблагородие! Что я? Жидов, что ли, не видал, чтоб их дуть? Не махонький.

– Как же попал?

– Иду я, стало быть. Улицей. Праздник – гуляю. Гляжу, – озорничают. Остановился поглядеть. А в этот момент из-за угольышка камаки. Да в нагайки. Тут меня с прочими наравне в участок и загнали.

– Повернись.

– Ась?

– Спиной встань.

Мужик с недоумением поворачивается спиной.

– На дверь смотри.

– Смотрю.

Пристав вставал и нагайкой вдоль спины отпускал такой удар, что у мужика вырывался вопль нечеловеческий. Человека всего корёжило.

– Пшиёл. Говоришь правду. Следующего.»

Повторяется та же процедура, затем:

«Удар. Крик. Но уже не таким благим матом. И нет тех корчей.»

Оказывается, у него надето две рубашки.

«Под ней третья. Под ней ещё одна или две шерстяные вязаные.

– Слоёный! Ты чего ж так вырядился?»

Последовал типичный неубедительный ответ и решение:

«– Ладно. Рассказывай своей бабушке. Задержать. Громила. Следующий.» Объяснение пристава:

«— Идёт на погром, — побольше рубашек на себя надевает. Будут казаки плетьми бить, — чтоб не так больно. (...) У меня удар, — гвозди пополам перешибаю. (...) Система такая, — добываю голос.».

От прозрения к поиску выхода

Нехлюдов ищет выход из пенитенциарного кошмара (разд. XIX третьей части):

«Рассуждение о том, что то, что возмущало его, происходило, как ему говорили служащие, от несовершенства устройства мест заключения и ссылки и что это все можно поправить, устроив нового фасона тюрьмы, — не удовлетворяло Нехлюдова, потому что он чувствовал, что то, что возмущало его, происходило не от более или менее совершенного устройства мест заключения. Он читал про усовершенствованные тюрьмы с электрическими звонками, про казни электричеством, рекомендуемые Тардом, и усовершенствованные насилия ещё более возмущали его.

Возмущало Нехлюдова, главное, то, что в судах и министерствах сидели люди, получающие большое, собираемое с народа жалованье за то, что они, справляясь в книжках, написанных такими же чиновниками, с теми же мотивами, подгоняли поступки людей, нарушающих написанные ими законы, под статьи и по этим статьям отправляли людей куда-то в такое место, где они уже не выдали их и где люди эти в полной власти жестоких, огрубевших смотрителей, надзирателей, конвойных миллионами гибли духовно и телесно.

Узнав ближе тюрьмы и этапы, Нехлюдов увидел, что все те пороки, которые развиваются между арестантами: пьянство, игра, жестокость и все те страшные преступления, совершаемые осторожниками, и самое людоедство — не суть случайности или явления вырождения, преступного типа, уродства, как это на руку правительству толкают тупые учёные, а есть неизбежное последствие непонятного заблуждения о том, что люди могут наказывать других. Нехлюдов видел, что людоедство начинается не в тайге, а в министерствах, комитетах и департаментах и заключается только в тайге; что его зятю, например, да и всем тем судейским и чиновникам, начиная от пристава до министра, не было никакого дела до справедливости или блага народа, о котором они говорили, а что всем

нужны были только те рубли, которые им платили за то, чтобы они делали все то, из чего выходит это развращение и страдание. Это было совершенно очевидно.»

Идея всепрощения (разд. XXVIII третьей части):

«Все то страшное зло, которое он видел и узнал за это время и в особенности нынче, в этой ужасной тюрьме, все это зло, <...> торжествовало, царствовало, и не виделось никакой возможности не только победить его, но даже понять, как победить его.»

«И с Нехлюдовым случилось то, что часто случается с людьми, живущими духовной жизнью. Случилось то, что мысль, представлявшаяся ему сначала как странность, как парадокс, даже как шутка, все чаще и чаще находя себе подтверждение в жизни, вдруг предстала ему, как самая простая, несомненная истина. Так выяснилась ему теперь мысль о том, что единственное и несомненное средство спасения от того ужасного зла, от которого страдают люди, состояло только в том, чтобы люди признавали себя всегда виноватыми перед Богом и потому не способными ни наказывать, ни исправлять других людей. Ему ясно стало теперь, что все то страшное зло, которого он был свидетелем в тюрьмах и острогах, и спокойная самоуверенность тех, которые производили это зло, произошло только оттого, что люди хотели делать невозможное дело: будучи злы, исправлять зло. Порочные люди хотели исправлять порочных людей и думали достигнуть этого механическим путём. Но из всего этого вышло только то, что нуждающиеся и корыстные люди, сделав себе профессию из этого мнимого наказания и исправления людей, сами развратились до последней степени и не переставая развергают и тех, которых мучают. Теперь ему стало ясно, отчего весь тот ужас, который он видел, и что надо делать для того, чтобы уничтожить его. Ответ, которого он не мог найти, был тот самый, который дал Христос Петру: он состоял в том, чтобы прощать всегда всех, бесконечное число раз прощать, потому что нет таких людей, которые бы сами не были виновны и потому могли бы наказывать или исправлять. <...>

Всегдашнее возражение о том, что делать с злодеями, — неужели так и оставить их безнаказанными? — уже не смущало его теперь. Возражение это имело бы значение, если бы было доказано, что

наказание уменьшает преступления, исправляет преступников: но когда доказано совершенно обратное, и явно, что не во власти одних людей исправлять других, то единственное разумное, что вы можете сделать, это то, чтобы перестать делать то, что не только бесполезно, но вредно и, кроме того, безнравственно и жестоко. «Вы несколько столетий казните людей, которых признаете преступниками. Что же, перевелись они? Не перевелись, а количество их только увеличилось и теми преступниками, которые развращаются наказаниями, и ещё теми преступниками-судьями, прокурорами, следователями, тюремщиками, которые сидят и наказывают людей». Нехлюдов понял теперь, что общество и порядок вообще существует не потому, что есть эти узаконенные преступники, судящие и наказывающие других людей, а потому, что, несмотря на такое развращение, люди все-таки жалеют и любят друг друга.»

Комментарий о наказаниях

Мысли Толстого-Нехлюдова, пришедшие обоим от чтения Нового Завета, просты и неотразимы: во-первых, грешны все, и не в праве одни грешники наказывать других и, во-вторых, как показывает опыт человечества, преступления не искореняются наказаниями, а наказание «не только бесполезно, но вредно и, кроме того, безнравственно и жестоко». Однако, то, что верно в принципе, не всегда своевременно и может оказаться совсем неприемлемым в реальной жизни – ведь с момента проповеди прошло уже 20 веков, а люди продолжают сочинять законы, нарушать их и карать за нарушения. Вряд ли было бы разумным вслед за Толстым пренебречь громадным опытом человечества, пусть очень и очень грешным, и вдруг, как будто какие-то серьёзнейшие обстоятельства решительно изменились, перейти к всепрощению. Хочется надеяться, что хотя бы в отдалённой перспективе оно станет возможным, а пока этого нет, стоит обратиться к вполне доступному устраниению самых очевидных, вопиющих недостатков системы наказания.

Читая результаты громких российских процессов, нельзя не поразиться громадным срокам заключения, которые зачастую требуют прокуроры и в почти полном соответствии с их требованиями отменяют судьи. И это происходит при том, что и те, и другие прекрасно

знают и жестокость, и, главное, бессмысленность содержания людей в российских лагерях. Изначальный советский смысл их, провозглашённый в 1920-х годах, – временная изоляция преступников и перевоспитание их – давно утрачен, лагерь превратился в крайне низко производительное предприятие жёстко подневольного почти не оплачиваемого труда в пользу не то государства, не то охранников, при нуждение к которому основано на системе издевательских наказаний.

Сейчас многие считают применяемую в России длительность заключения чрезмерной. По большинству преступлений и прегрешений её полезно было бы сократить в несколько раз, сделав вместе с тем заключение непременно осмысленным и обеспечивая вслед за ним патронирование бывшего заключённого и контроль за ним в течение длительного времени. Так сказать, и в этом деле нужно бы поступить – количеством за счёт резкого повышения качества.

Сокращение сроков заключения вовсе не означает, с моей точки зрения, всеобщего послабления. Но прежде, чем обсудить крайности наказаний, нельзя пройти мимо потрясающего текста Толстого.

О смертной казни

Рассказ этапируемого революционера (разд. VI третьей части):

«В особенности полюбил Нехлюдов <...> ссылаемого в каторгу чахоточного молодого человека Крыльцова. <...> Крыльцов, разговаривши, рассказал ему свою историю и как он стал революционером. История его до тюрьмы была очень короткая. Отец его, богатый помещик южных губерний, умер, когда он был ещё ребёнком. Он был единственный сын, и мать воспитывала его. Учился он легко и в гимназии и в университете и кончил курс первым кандидатом математического факультета. Ему предлагали оставаться при университете и ехать за границу. Но он медлил. Была девушка, которую он любил, и он подумывал о женитьбе и земской деятельности. Всего хотелось, и ни на что не решался. В это время товарищи по университету попросили у него денег на общее дело. Он знал, что это общее дело было революционное дело, которым он тогда совсем не интересовался, но из чувства товарищества и самолюбия, чтобы не подумали, что он боится, дал деньги. Взявшие деньги попались; была найдена записка, по которой узнали, что деньги даны Крыльцовыми; его арестовали, посадили сначала в часть, а потом в тюрьму.

— В тюрьме, куда меня посадили, — рассказывал Крыльцов Нехлюдову (он сидел с своей впалой грудью на высоких нарах, облокотившись на колени, и только изредка взглядавал блестящими, лихорадочными, прекрасными, умными и добрыми глазами на Нехлюдова), — в тюрьме этой не было особой строгости: мы не только перестукивались, но и ходили по коридору, переговаривались, делились провизией, табаком и по вечерам даже пели хором. У меня был голос хороший. Да. Если бы не мать, — она очень убивалась, — мне бы хорошо было в тюрьме, даже приятно и очень интересно. Здесь я познакомился, между прочим, с знаменитым Петровым (он потом зарезался стеклом в крепости) и ещё с другими. Но я не был революционером. Познакомился я также с двумя соседями по камере. Они попались в одном и том же деле с польскими прокламациями и судились за попытку освободиться от конвоя, когда их вели на железную дорогу. Один был поляк Лозинский, другой — еврей, Розовский — фамилия. Да. Розовский этот был совсем мальчик. Он говорил, что ему семнадцать, но на вид ему было лет пятнадцать. Худенький, маленький, с блестящими черными глазами, живой и, как все евреи, очень музыкален. Голос у него ещё ломался, но он прекрасно пел. Да. При мне их обоих водили в суд. Утром отвели. Вечером они вернулись и рассказали, что их присудили к смертной казни. Никто этого не ожидал. Так неважко было их дело — они только попытались отбиться от конвоя и никого не ранили даже. И потом так неестественно, чтобы можно было такого ребёнка, как Розовского, казнить. И мы все в тюрьме решили, что это только, чтобы напугать, и что приговор не будет конфирирован. Поволновалось сначала, а потом успокоилось, и жизнь пошла по-старому. Да. Только раз вечером подходит к моей двери сторож и таинственно сообщает, что пришли плотники, ставят виселицу. Я сначала не понял: что такое? какая виселица? Но сторож-старик был так взволнован, что, взглянув на него, я понял, что это для наших двух. Я хотел постучать, переговориться с товарищами, но боялся, как бы те не услыхали. Товарищи тоже молчали. Очевидно, все знали. В коридоре и камерах весь вечер была мёртвая тишина. Мы не перестукивались и не пели. Часов в десять опять подошёл ко мне сторож и объявил, что палача привезли из Москвы. Сказал и отошёл. Я стал его звать, чтобы вернулся. Вдруг слышу, Розовский из своей камеры через коридор кричит мне: «Что вы? зачем вы его зовёте?» Я сказал

что-то, что он табак мне приносил, но он точно догадывался и стал спрашивать меня, отчего мы не пели, отчего не перестукивались. Не помню, что я сказал ему, и поскорее отошёл, чтобы не говорить с ним. Да. Ужасная была ночь. Всю ночь прислушивался ко всем звукам. Вдруг к утру слышу – отворяют двери коридора и идут кто-то, много. Я стал у окошечка. В коридоре горела лампа. Первый прошёл смотритель. Толстый был, казалось, самоуверенный, решительный человек. На нем лица не было: бледный, понурый, точно испуганный. За ним помощник – нахмуренный, с решительным видом; сзади караул. Прошли мимо моей двери и остановились перед камерой рядом. И слышу – помощник каким-то странным голосом кричит: «Лозинский, вставайте, надевайте чистое белье». Да, потом слышу, завизжала дверь, они прошли к нему, потому слышу шаги Лозинского: он пошёл в противоположную сторону коридора. Мне видно было только смотрителя. Стоит бледный и расстёгивает и застёгивает пуговицу и пожимает плечами. Да. Вдруг точно испугался чего, посторонился. Это Лозинский прошёл мимо него и подошёл к моей двери. Красивый был юноша, знаете, того хорошего польского типа: широкий, прямой лоб с шапкой белокурых выьющихся тонких волос, прекрасные голубые глаза. Такой цветущий, сочный, здоровый был юноша. Он остановился перед моим окошечком, так что мне видно было все его лицо. Страшное, осунувшееся, серое лицо. «Крыльцов, патиросы есть?» Я хотел подать ему, но помощник, как будто боясь опоздать, выхватил свой портсигар и подал ему. Он взял одну патироску, помощник зажёг ему спичку. Он стал курить и как будто задумался. Потом точно вспомнил что-то и начал говорить: «И жестоко и несправедливо. Я никакого преступления не сделал. Я...» В белой молодой шее его, от которой я не мог оторвать глаз, что-то задрожало, и он остановился. Да. В это время, слышу, Розовский из коридора кричит что-то своим тонким еврейским голосом. Лозинский бросил окурок и отошёл от двери. И в окошечке появился Розовский. Детское лицо его с влажными черными глазами было красно и потно. На нем было тоже чистое белье, и штаны были слишком широки, и он все подтягивал их обеими руками и весь дрожал. Он приблизил своё жалкое лицо к моему окошечку: «Анатолий Петрович, ведь правда, что доктор прописал мне грудной чай? Я нездоров, я выпью ещё грудного чаю». Никто не отвечал, и он вопросительно смотрел то на меня, то на смотрителя.

теля. Что он хотел этим сказать, я так и не понял. Да. Вдруг помощник сделал строгое лицо и опять каким-то визгливым голосом закричал: «Что за шутки? Идём». Розовский, очевидно, не в силах был понять того, что его ожидало, и, как будто торопясь, пошёл, почти побежал вперёд всех по коридору. Но потом он упёрся – я слышал его пронзительный голос и плач. Началась возня, топот ног. Он пронзительно визжал и плакал. Потом дальше и дальше, – зазвенела дверь коридора, и все затихло... Да. Так и повесили. Верёвками задушили обоих. Сторож, другой, видел и рассказывал мне, что Лозинский не противился, но Розовский долго бился, так что его втащили на эшафот и силой вложили ему голову в петлю. Да. Сторож этот был глуповатый малый. «Мне говорили, барин, что страшно. А ничего не страшно. Как повисли они – только два раза так плечами, – он показал, как судорожно поднялись и опустились плечи, – потом палац подёрнул, чтобы, значит, петли затянулись получше, и шабаш: и не дрогнули большие». «Ничего не страшно», – повторил Крыльцов слова сторожа и хотел улыбнуться, но вместо улыбки разрыдался.

Долго после этого он молчал, тяжело дыша и глотая подступавшие к его горлу рыдания.»

Еще комментарий о наказаниях и мнение В.Т. Шаламова

Эта потрясающая история рассказана Толстым с редкими даже для него проницательностью и мастерством. Кого она может оставить равнодушным?

Но даже под её впечатлением я всё же не становлюсь сторонником полной отмены смертной казни.

Ведь периодически появляются преступники, на исправление которых никакой надежды нет, их поступки ясно говорят о том, что они – монстры, нелюдь. Их приговаривают к немыслимым срокам заключения или сразу к пожизненному заключению. Получается, что общество берёт на изживение эту нелюдь, обеспечивает, так сказать, человеческое отношение к нелюдям. А на практике это означает, что общество нанимает персонал, чтобы эту нелюдь охранять, поить, кормить, одевать, мыть, лечить и т.п. И мне кажется, не так уж хорошо и полезно обрекать своих граждан на общение с нелюдью. Что происходит с психикой этого персонала? Не лучше ли, если есть средства на

содержание этого персонала, использовать его служителями в зоопарках или для ухода за детьми, за бедными и больными согражданами? Мне кажется, что общество должно найти в себе мужество посредством законов поручить своим судьям, пусть это будут судьи особенно высокой квалификации, и присяжным, особенно проницательным и ответственным, в некоторых случаях назвать страшные вещи своим именем, нелюдь назвать нелюдью, и приговорить её к смерти, что через некоторое время должно быть мужественно и с облегчением исполнено.

Относительно осмыслинности заключения прислушаемся к мнению невольного и неоспоримого знатока советской пенитенциарной системы В.Т. Шаламова, который подарил его своему персонажу Э.П. Берзину и затем зафиксировал полную безрезультатность:

«Все заключённые должны были работать каждый по своей специальности, а если специальности нет – лагерь даёт её – и не только краткосрочными курсами, а основательной учёбой. <...> Берзинская идея была раздавлена в болотах Москанала, где уже ни о каких мастерских, ни о какой учёбе не было речи, а говорили только о процентах, о выработке, о физической силе... <...> О переделке человека говорить перестали. <...> В арестантской рабочей силе, в рабском труде видели спасение от всех зол.»

Попутно. Сведения о давних внушающих оптимизм порядках высказаны Шаламовым в намётках документально-художественного сочинения об Э.П. Берзине, и эти дела приписаны Берзину же, вероятно, не без оснований. Цитируется по книге Варлам Шаламов «Воспоминания», М., издательства Олимп, Апрель, АСТ, 2001, стр. 266, 267. Упомянутый Берзин во время гражданской войны командовал латышской дивизией, затем – большой чин в ЧК (успех в раскрытии «заговора Локкарта»), затем возглавлял громадные стройки на Северном Урале и на Колыме, где использовались массы заключённых. Расстрелян в 1938 г.

Заключённого, если он не имеет и ещё не приобрёл в заключении востребуемой обществом профессии, опасно и бесчеловечно выпускать на волю. Но и эта обретённая им воля не должна быть вровень с волей нерепрессированного человека. Представляется необходимым запрет заниматься на воле той прежней деятельностью и в том окружении, которая привела к преступлению. Если заключённый ничего другого не умеет, нужно обучить его чему-то подходящему и востребованному обществом, а потом контролировать, что он занят именно

этим, а если хочет не этим, а чем-то другим, но не запрещённым, то на то есть уважительная причина.

Попутно. Простой хорошо известный пример: можно ли усмотреть хоть какую-то целесообразность в том, что МБХ пробыл в заключении 11 лет и занимался в лагере пошивом рабочих рукавиц? Не будем обсуждать здесь вопрос о его виновности или невиновности, допустим, что он виновен. Но и в этом случае разве мало того, что он был отлучён от своего громадного производства, которое поднял из руин и которому был безгранично предан, и что потерял большое состояние, используемое вовсе не паразитически. Если уж хотели показательно обвинить и обобрать, можно было назначить ему года два лагеря или условное наказание. Мог ли он быть «перевоспитан» в ходе изнурительных и бессмысленных судебных процессов и во время собственноручного изготовления в лагере рукавиц (вместо существующих для этого автоматов)? И стоит ли удивляться, что заключение превратило его из исключительно успешнейшего предпринимателя в оппозиционного общественного деятеля? Наконец, разве не мог он быть использован во время заключения в какой-то деятельности, соответствующей его организационному или инженерному таланту и полезной для общества?

Судя по встречающейся в печати информации о расположении лагерей в отдалённой глухи, в них никакая професионализация заключённых невозможна. Чтобы организовать обучение, лагерь должен быть не спрятан от людей, как повелось с 1920-х годов, а расположен в окрестности города, где найдутся квалифицированные преподаватели и, плюс к этому, возможен внимательный общественный контроль. Вывод лагерей из глухи на свет бесценен и тем, что заодно воспрепятствует образованию династий и кланов в разлагающей профессии охранника. Дурная клановость, династичность неминуемо складывается вокруг лагеря, удалённого от людей, занятых нормальным производительным трудом. Там другой работы практически нет, и на лагерь вместе с заключёнными в нём привыкают смотреть просто как на принадлежащий служащим лагеря источник кормления, вроде свинофермы.

Конечно, совершенствование системы законов, судов, лагерей и послелагерного патронирования требует от общества многоного: прежде всего немалой решимости, затем организационных усилий и, конечно, средств. Несмотря на это, Российское общество должно понять, что как тем, кто наказуем, так и тем, кто берёт на себя наказывать, иначе грозит неминуемое одичание. Есть надежда, что это понимание вызовет шаги по искоренению зла, и на реформы придётся пойти. Чем скорее, тем лучше.

О политических

Герой Толстого знакомится с политическими заключёнными (разд. V и VI третьей части):

«... Нехлюдову <...> пришлось познакомиться с многими политическими, сначала в Екатеринбурге, где они очень свободно содержались все вместе в большой камере, а потом на пути с теми пятью мужчинами и четырьмя женщинами, к которым присоединена была Маслова. Это сближение Нехлюдова с ссыльными политическими совершенно изменило его взгляды на них.

С самого начала революционного движения в России, и в особенности после Первого марта, Нехлюдов питал к революционерам недоброжелательное и презрительное чувство. Отталкивала его от них прежде всего жестокость и скрытность приёмов, употребляемых ими в борьбе против правительства, главное, жестокость убийств, которые были совершены ими, и потом противна ему была общая им всем черта большого самомнения. Но, узнав их ближе и все то, что они часто безвинно перестрадали от правительства, он увидел, что они не могли быть иными, как такими, какими они были.

Как ни ужасно бессмысленны были мучения, которым подвергались так называемые уголовные, все-таки над ними производилось до и после осуждения некоторое подобие законности; но в делах с политическими не было и этого подобия, как это видел Нехлюдов на Шустовой и потом на многих и многих из своих новых знакомых. С этими людьми поступали так, как поступают при ловле рыбы неводом: вытаскивают на берег все, что попадается, и потом отбирают те крупные рыбы, которые нужны, не заботясь о мелкоте, которая гибнет, засыхая на берегу. Так, захватив сотни таких, очевидно не только не виноватых, но и не могущих быть вредными правительству людей, их держали иногда годами в тюрьмах, где они заражались чахоткой, сходили с ума или сами убивали себя; и держали их только потому, что не было причины выпускать их, между тем как, будучи под рукой в тюрьме, они могли понадобиться для разъяснения какого-нибудь вопроса при следствии. Судьба всех этих часто даже с правительенной точки зрения невинных людей зависела от произвола, досуга, настроения жандармского, полицейского офицера, шпиона, прокурора, судебного следователя, губернатора, ministra. Соскучится такой чиновник или желает отличиться – и делает аресты

и, смотря по настроению своему или начальства, держит в тюрьме или выпускает. А высший начальник, тоже смотря по тому, нужно ли ему отличиться, или в каких он отношениях с министром, — или ссылает на край света, или держит в одиночном заключении, или приговаривает к ссылке, к каторге, к смерти, или выпускает, когда его попросят об этом какая-нибудь дама.

С ними поступали, как на войне, и они, естественно, употребляли те же самые средства, которые употреблялись против них. И как военные живут всегда в атмосфере общественного мнения, которое не только скрывает от них преступность совершаемых ими поступков, но представляет эти поступки подвигами, — так точно и для политических существовала такая же, всегда сопутствующая им атмосфера общественного мнения их кружка, вследствие которой совершаемые ими, при опасности потери свободы, жизни и всего, что дорого человеку, жестокие поступки представлялись им также не только не дурными, но доблестными поступками. Этим объяснялось для Нехлюдова то удивительное явление, что самые краткие по характеру люди, неспособные не только причинить, но видеть страданий живых существ, спокойно готовились к убийствам людей, и все почти признавали в известных случаях убийство, как орудие самозащиты и достижения высшей цели общего блага, законным и справедливым. Высокое же мнение, которое они приписывали своему делу, а вследствие того и себе, естественно вытекало из того значения, которое придавало им правительство, и той жестокости наказаний, которым оно подвергало их. Им надо было иметь о себе высокое мнение, чтобы быть в силах переносить то, что они переносили.

Узнав их ближе, Нехлюдов убедился, что это не были сплошные злодеи, как их представляли себе одни, и не были сплошные герои, какими считали их другие, а были обыкновенные люди, между которыми были, как и везде, хорошие, и дурные, и средние люди. Были среди них люди, ставшие революционерами потому, что искренно считали себя обязанными бороться с существующим злом; но были и такие, которые избрали эту деятельность из эгоистических, тщеславных мотивов; большинство же было привлечено к революции знакомым Нехлюдову по военному времени желанием опасности, риска, наслаждением игры своей жизнью — чувствами, свойственными самой обыкновенной энергической молодёжи. Различие их от обыкновенных

людей, и в их пользу, состояло в том, что требования нравственности среди них были выше тех, которые были приняты в кругу обыкновенных людей. Среди них считались обязательными не только воздержание, супровость жизни, правдивость, бескорыстие, но и готовность жертвовать всем, даже своею жизнью, для общего дела. И потому те из этих людей, которые были выше среднего уровня, были гораздо выше его, представляли из себя образец редкой нравственной высоты; те же, которые были ниже среднего уровня, были гораздо ниже его, представляя из себя часто людей неправдивых, притворяющихся и вместе с тем самоуверенных и гордых. Так что некоторых из своих новых знакомых Нехлюдов не только уважал, но и полюбил всей душой, к другим же оставался более чем равнодушен.»

Примечание к цитированному тексту: Первого (13) марта 1881 года народовольцы убили российского императора Александра II.

В разд. V1 Толстой рассказал несколько историй, среди которых выше цитированная история Крыльцова, революционера по случаю. В результате увиденного и рассказанного Нехлюдову Крыльцов преобразился, о чём Толстой его словами рассказал дальше:

«— С тех пор я и сделался революционером. Да, — сказал он, успокоившись, и вкратце досказал свою историю.

Он принадлежал к партии народовольцев и был даже главою дезорганизационной группы, имевшей целью терроризировать правительство так, чтобы оно само отказалось от власти и призвало народ. С этой целью он ездил то в Петербург, то за границу, то в Киев, то в Одессу и везде имел успех. Человек, на которого он вполне полагался, выдал его. Его арестовали, судили, prodержали два года в тюрьме и приговорили к смертной казни, заменив её бессрочной каторгой.

В тюрьме у него сделалась чахотка, и теперь, в тех условиях, в которых он находился, ему, очевидно, оставалось едва несколько месяцев жизни, и он знал это и не раскаивался в том, что он делал, а говорил, что, если бы у него была другая жизнь, он ее употребил бы на то же самое — на разрушение того порядка вещей, при котором возможно было то, что он видел.

История этого человека и сближение с ним объяснили Нехлюдову многое из того, чего он не понимал прежде.»

Комментарий о революционерах

То, что Толстой вник в современные ему протестные события, в характеры участников этих событий, признаюсь, явилось для меня неожиданностью. Лет 50 назад, когда я первый раз читал этот роман, меня по легкомыслию молодости заинтересовала почти исключительно любовная, психологическая сторона описываемой истории, а сторона общественная, видимо, не произвела такого впечатления, чтобы остаться в памяти. Произошло это то ли по тому же легкомыслию, то ли происходившее согласно Толстому не соотносилось тогда, в моих глазах, достаточно близко с происходящим вокруг меня. Я не понимал, что описано преддверие революции. Теперь же я вижу, что Толстой обнаружил и воссоздал в романе повторяющуюся российскую картину, и роман шагнул из того века в этот.

В описанных Толстым нравах содержания заключённых особенно обращают на себя внимание два обстоятельства.

Во-первых, Толстой не описывает преднамеренных издевательств над заключёнными со стороны охранников, самодеятельного садизма или корыстных принуждений, и этим те условия кажутся человечнее существующих теперь.

Во-вторых, Толстой не интересуется специально разницей в положении уголовных заключённых и политических, но современный глаз не может не обратить на неё внимания, они несколько отделены друг от друга, политические так и называются политическими, и к ним (они же образованные!) отношение охранников более почтительное. Как далеко это от советского времени, когда политических доподлинно угнетали, нарочно смешивая с уголовными, или как утверждал В.Т. Шаламов на стр.138 книги уже упомянутых воспоминаний:

«Для Сталина не было лучшей радости, высшего наслаждения во всей его преступной жизни, как осудить человека за политическое преступление по уголовной статье».

Судя по публикациям, сегодня сходная практика. Все возможным оппозиционерам или тем, кто просто чем-то публично возмутился, власти придумывают «дела» вроде финансовых манипуляций, возни с наркотиками или уж совсем удивительного «неподчинения законным требованиям полиции». Суды как бы этому верят и вполне всерьёз присуждают оппозиционеров как уголовников к нешуточным отсид-

кам вместе с действительными уголовниками. Благодаря этой практике провозглашается, что политических заключённых в стране нет и все довольны. А в результате эти искусственно созданные уголовники и многие им близкие становятся решительными оппозиционерами.

Несколько итоговых слов

Толстой заканчивал в 1899 году работу над романом в страстной надежде на нравственное воскресение главных персонажей и, может быть, всего общества. Он ещё не мог знать, к чему приведёт описанное им состояние этого общества, он только прозорливо тревожился и гневался. Толстой бесконечно велик и тем, что, будучи уже очень старым по тем временам человеком (71 год), он сумел разглядеть, понять громадную важность темы о российской тюрьме и о революционерах, и это поразительно. А мы-то, умники по сравнению с Толстым, знаем дальнейшее, знаем о тогда ещё предстоящих стране военных катастрофах, о продолжении социальной разобщённости, о росте межнациональной розни, мы знаем и то главное, что до репетиции страшных событий тогда оставалось всего 6 лет, а до их катастрофического осуществления тоже не долго – 18 лет.

С самого момента создания роман «Воскресение» был слишком актуален, и поэтому не удивительно, что он считается официальной критикой, в образовательных учреждениях второсортным толстовским сочинением, недостаточно высокохудожественным плодом, как бы сказать, его старческой слабости и наивной религиозной ангажированности.

Как часто потомки из своего далёкого будущего видят в прошлом такого рода картину: морской лайнер прёт на айсберг, катастрофа неминуема, но участники события этого не понимают, не смеют или не находят сил изменить гибельную траекторию. Потомки сочувствуют предкам, жалеют и себя, наследников катастрофы, но прошлое уже не изменить, да и, на поверку, сами потомки не влекомы ли по подобной же траектории?

Глава 2

К юбилею В. Высоцкого – хула и признание

Введение

Владимир Высоцкий так воспринимал жизнь, что его негодование или ухмылка, как и активность и неудачи его персонажей, близки многим. Он трудился в театре и на эстраде. Во-первых, он состоялся под руководством исключительно проницательного и искусного режиссера Юрия Любимова как ведущий артист знаменитейшего московского театра «Таганка». Во-вторых, он создал много замечательных песен и бесконечно много их исполнял на самых различных эстрадах или в совсем непрятательных собраниях. Персонажи его песен запальчиво, волнующе рассказывали о своих, как правило, драматических или трагикомических, а то и безвыходных ситуациях и, реже, о ситуациях смешных. Государство стремилось творчество Таганки и индивидуальное творчество Высоцкого не допустить к народу, и при жизни он, насколько помню, не увидел ни пластинок со своими песнями, ни даже книжки своих стихов. Но помимо властей и вопреки им, вместе с проникновением к людям магнитофонов, песни Высоцкого широчайше распространились в народе, вошли в его быт. Они отразили вольнолюбие самых разных слоёв. Их почитали практически на всей территории бывшего СССР, а последние десятилетия они слышны и в других землях, куда только ни разъехались многие его слушатели.

Хотя о Высоцком (1938-1980) уже сказано, показано и написано много, сорокалетие с его смерти было отмечено новыми публикациями – обычно почтительными.

Вот и в берлинской газете «Еврейская панорама» за июль 2020 года тоже помещена большая – на двух полосах – статья о нём «Бунтарь-шестидесятник или „messia“ застоя?». Автор Александр Шойхет – насколько известно, литератор, проживающий в Израиле. Статья содержит «для некоторых, вероятно, „крамольную“ версию объяснения этого, на первый взгляд, почти мистического поклонения Высоцкому». Если оставить в стороне натужную ироничность заголовка и этой фра-

зы, можно подумать, что автор хочет раскрыть новые грани таланта и популярности Высоцкого. Он действительно объясняет её, но – лишь низким уровнем творчества Высоцкого и его публики, тем, что он, говоря языком героя М. Зощенко, своей публике потрафляет.

Статья содержит по отношению к Высоцкому очевидную несправедливость, формулируемую вчуже с позиции легкомысленного снобизма. Такое обращение с одним из наиболее значительных явлений в жизни страны, не может не задеть многих благодарных его почитателей, а их миллионы. Статья эта получилась не крамольной, а беспардонной. Возражения против неё тем более уместны, что сам автор статьи, судя по уже приведенной фразе, считает её дискуссионной. Мотив её создания ничем не объяснишь, кроме стремления к славе, пусть хоть геростратовой, – за счёт скандального приближения своего имени к признанному авторитету.

Обсуждение поэтов и бардов того времени, непохожестью на которых статья клеймит Высоцкого, – тема, слишком широкая для данного отклика, да и бесмысленная: уж очень они, барды, разные по характеру творчества и уровню дарования. А частную жизнь Высоцкого (о ней Шойхет откуда-то черпает очень неодобрительные сведения) обсуждать непристойно.

Статья отрицает смысл работы Высоцкого как в театре, так и на эстраде, но вперемежку и в связи с характеристикой советского народа (не лестной) и времени (спорной). Чтобы восстановить справедливость в главном, относительно творчества Высоцкого, мы поговорим только об основном и очевидном, о двух этих поприщах в отдельности: сначала о актёре театра и затем об авторе и исполнителе песен.

Хотя поводом создания данного текста была упомянутая статья, критике этой статьи удалено в нём гораздо меньше места, чем более важному – собственно творчеству Высоцкого. Однако, начнём именно с аргументов статьи и попутно кратких комментариев, вводящих, надеюсь, в тему о творчестве.

Аргументы поношения

Чтобы исключить недоразумения, здесь воспроизведены наиболее относящиеся к делу фрагменты статьи Шойхета, как ругательные, так и, независимо от его склонности ёрничать, – оказавшиеся комплиментарными.

Статья ставит на место молодого Высоцкого начала 1960-х: «*Кумир поколения 1970-1980-х, <...> писал он тогда примитивные песенки блатного содержания, воспевающие хулиганство и тюремную „романтику“.*» Если уж признал его кумиром поколения, надо бы его и понять. Тогда стало бы ясно, что Высоцкий никогда ничего не воспевал, а сочинял и рассказывал захватывающие драматические истории о своих современниках. Персонажи тех песен заряжены напряжённым вольнолюбием на преодоление жизненных обстоятельств, и именно это привлекало сочувствие слушателей, так многим из которых тюрьма и каторга слишком знакомы.

Ещё ирония на ту же тему: «*Этот народ, чего греха таить, тоже любил запрещённые на официальной эстраде песенки, но это был определённый жанр – народный „бллатной“ раешник <>. Вот на какой почве появился и засиял талант В. Высоцкого.*» Что касается презрения к раёшнику, то это жанр своей понятностью народу действительно важен; им, например, не побрезговал Пушкин в плутовской «Сказке о попе и работнике его балде». И ведь очевидно, что основную часть творчества Высоцкого никак не отнесёшь к презираемому Шойхетом жанру.

Стремлением к конкретности, к наглядности изображаемого можно объяснить близость многих песен Высоцкого к жанру басни. Совершенно такова история о том, как «один жираф влюбился в антилопу» и отстаивает равенство:

Что же, что рога у ней? –
Кричал жираф любовно. –
Нынче в нашей фауне
Равны все поголовно.

Если вся моя родня
Будет ей не рада,
Не пеняйте на меня,
Я уйду из стада!

От крыловских басен (вспоминается: "Ай, Мосъка! знать она сильна, / Что лает на Слона!") эта, как и большинство историй Высоцкого, отличается отсутствием завершающей морали. Высоцкому она не нужна: он в большой мере драматург, и за него морализаторствуют его персонажи (как этот жираф и попугай из этой же песни). Вспомним ещё. В неком королевстве

Появился дикий вепрь агромадный,
То ли буйвол, то ли бык, то ли тур,

и король призывает на борьбу с ним своего лучшего стрелка, опального и живущего «*в тоске и гусарстве*». А вот песня того же рода, хотя совсем без зверей. В ней перебираются вздорные ответы на вопрос «*Но почемуaborигены съели Кука?*», вопрос, уж подавно не нуждающийся в итоговой морали. И наконец, пьяная фантазия о джине из бутылки, от которого «*кроме мордобития — никаких чудес*»; и подтвердилось:

Супротив милиции он ничего не смог!
Вывели болезного, руки ему за спину
И с размаху кинули в черный воронок.

Ради обвинения в несамостоятельности допущена грубая ошибка: «*Надо сказать, что новый жанр — „песня-репортаж“ — это изобретение Юрия Визбора, а вовсе не Высоцкого.*» При всей симпатичности Визбора не могу, однако, не возразить, что подобный жанр песенной новеллы имеет гораздо более длинную историю, и она ясно просматривается, по крайней мере, от песен П. Беранже (песню «Ницая» на его слова и музыку А. Алябьева кто только не пел; хорошо помнится В. Козин). А сколько других пропетых новелл не забывают в России, печальных, героических, сатирических... Ф. Шаляпин шикарным голосом издевался о прикоролевской блоке (В. Гёте, М. Мусоргский) и почти величественно пел о том, как «*Во Францию два гренадёра из русского плена брели*» (Г. Гейне, Р. Шуман). Л. Утёсов пел «*Раскинулось море широко*» и «*Одессит Мишка*», он артистично представлял жалобу старого извозчика и то, как именно «*всё хорошо, прекрасная маркиза*». М. Бернес проникновенно пел о возвращении солдата к пепелищу и могиле жены («*Враги сожгли родную хату*», И. Исаковский, М. Блантер). К. Шульженко блестательно пела о женских волнениях: о синем платочек и о старых письмах, о трёх этапных в жизни вальсах (Л. Давидович, В. Драгунский, А. Цфасман). А забудем ли П. Лещенко с его лихим монологом «*Чубчик*», и драму из неувядающей песни «*Мурка*»?

И, конечно, непосредственным предшественником упоминаемых автором бардов того времени являлся поэт, актёр и эстрадный певец Александр Вергинский, и они это прекрасно осознавали. В часто цитируемой статье М. Иофьева «*Вергинский*» («*Профили искусства*», изд. Искусство, М. 1965, с.204-208) говорится: «*Песни Вергинского —*

маленькие новеллы, в них есть действие, атмосфера, у героев есть прошлое».

Попутно. Приблизительно в 1949 году в зал Камерного театра на Тверском бульваре на концерт Вертина пришла «вся Москва» (и автора данного текста его старший брат, к счастью, пристроил тоже). Для того жестокого времени искренне выраженный восторг очень квалифицированной публики был удивителен.

Ещё одно очевидное сопоставление: многие герои Зощенко тоже сочно рассказывают о своих пренеприятных историях, не вполне осознавая их смысл. Явственно и отличие – герои Высоцкого воспринимают действительность более темпераментно, драматично.

Да, песенное новаторство Высоцкого опиралось на очень сильную и разностороннюю традицию, созданную великолепными предшественниками! Ссылка же в этой связи на Визбора совершенно наивна.

К теме заимствования примыкает единственное (!) во всей статье конкретное замечание по поводу творчества: *«Но Высоцкий хочет всенародного признания, он жаждет славы и использует для этого и чужие открытия, и свои актёрские данные. Он заимствует хриплый рык <...> у Армстронга <...>. <...> один из главных секретов его популярности – хриплый мужественный рык.»* Однако, уверен, что следовать примеру великого Армстронга совсем не грех. А об актёрских данных Высоцкого, очень немалых, – отдельный разговор ниже.

В уже упомянутых 1970-1980-х годах барды согласно статье, «*промышляют тихо сочинять талантливые лирические песни – для тех, кто ещё не разуверился в „социализме с человеческим лицом“.* Но приходящему им на смену поколению детей лагерных вертухаев не нужна была высокая поэзия. <> И вот тут бард нового времени, времени „брежневского застоя“ Владимир Высоцкий пришёлся ко двору.» Этот фрагмент полон высокомерной иронии и к бардам, и к Высоцкому. С бардами – какая-то путаница: не ясно, то ли они создают лирические песни, то ли чудом поднялись к высокой поэзии. А их читатели и слушатели презрительно сведены сначала к не разуверившимся в социализме с человеческим лицом (заметим: стремление к человеческому совсем не позорно среди бесчеловечного), а затем и вовсе к детям вертухаев.

В статье много места уделено тому фону, тому застойному времени, в соответствии с которым, как кажется автору, работал Высоцкий. А он творил, как чётко судит Б. Зингерман (см. ниже), – «*в атмосфере застоя, ей вопреки*». Именно потому был популярен.

О популярности: «часть общества, выросшая на русской классике XIX в. и поэзии Серебряного века, не воспринимала поэзию Высоцкого и его игру в театре как выдающееся явление. Он был всего лишь один из представителей бардов-шестидесятников.» Как говорится, на всех не угодишь, но известны многие из вполне уважаемой части общества, которые, в отличие от автора статьи, считали Таганку и Высоцкого именно выдающимися явлениями. Любопытно, что здесь Высоцкий повышен в ранге до шестидесятников, правда в данном случае и они – какие-то «всего лишь».

В выписанной выше фразе промелькнула тема о поэзии Высоцкого. Не берусь схоластически обсуждать, как это однажды сделал Е. Евтушенко, дотянул ли Высоцкий до звания поэта. Ведь возникают неделикатные вопросы, кого прилично было бы так назвать. Самого Евтушенко или Визбора? Заодно с великими Пастернаком и Ахматовой, бывшими совсем рядом с ними: до 1960 и 1966 года? Важно другое: стихотворные тексты песен Высоцкого блестяще выполнили свою главную роль – вместили многое очень важное для народа и обеспечили им широчайшее признание в не меньшей мере, чем артистичность исполнения.

Среди многих банальностей относительно застоя, статья демонстрирует отвращение к низкому народу, воспринимавшему Высоцкого как своего. Первый фрагмент: «*А нужен и интересен он только „советскому“ народу, так как он был плотью от плоти этого общества...*» Второй, более подробный: «*он ушёл, оплаканный своим „советским народом“, всеобщий бард, почитаемый одинаково и уголовниками, и „ментам“, и шоферами- дальнобойщиками, и научными работниками, и диссидентами, и работниками КГБ, и партийными работниками, и бомжами.* < > *За это и любил его „массовый“ советский человек. И даже объявил неким мессией и пророком своего времени.*» Заметим, как всё это высокомерие неуместно со стороны Шойхета и что вместе с издёвкой здесь вдруг высказаны в адрес Высоцкого сильнейшие похвалы, а во второй фразе – даже панегирик.

Хотя Шойхет вряд ли видел артиста Высоцкого на сцене, из его статьи ясно, что он не уважает ни этого артиста, ни его театра «Таганка» и, сверх того, сам выдумывает напраслину (никаких ссылок на источники поношения в статье нет): «*Любимов быстро сообразил, что из-за растущей популярности зритель теперь пойдёт в его театр „на Высоцкого“, и начинает давать ему главные роли, несмотря на <*

> в общем-то, средний актёрский талант. < > Любимов торговал его расступцей популярностью и тем самым разворачивал Высоцкого и душил талант действительно ярких актёров.» Здесь к режиссёру театра Юрию Любимову, гордости российской культуры, пренебрежительно применены глаголы сообразил, торговал, разворачивал, душил. Он представлен просто чуть ли не мелким жуликом. Что же касается актёрского таланта, оценивать его простенько как средний и бессмысленно, и невежливо.

В статье безапелляционно утверждается: «Как актёр Высоцкий одинаков во всех образах – он играет самого себя.» Неправильно: он сыграл множество разнохарактерных ролей в театре и в кино, представил массу песенных персонажей, и то, что утверждается в статье, было бы невозможно без изменения образа. Внешне он был, без сомнения, узнаваем, даже гримом пользовался мало. Видимо, это обмануло автора статьи, хотя трудно спутать его Гамлета с его Жегловым.

Из статьи следует, что никакого вопроса, сформулированного в её заголовке, нет: Высоцкий никакой не бунтарь, тем более он не из шестидесятников, которые в статье щедро и уважительно перечисляются, любил он лишь презираемой автором толпой его современников.

Высоцкий – артист Таганки

Не раз являясь благодарным зрителем театра «Таганка» и повидав Высоцкого как на сцене театра, так и, всего однажды, как эстрадного актёра, но не будучи специалистом в театральном искусстве, с удовольствием подкрепляю свой отзыв мнением Бориса Зингермана, авторитетнейшего московского театрального критика второй половины XX века, близко знавшего Таганку и творчество Высоцкого. Его статьи опубликованы в журнале «Театр»:

1. «Заметки о Любимове», 1991, №1, с. 37-61;
2. «Человек в меняющемся мире. Заметки на темы театра XX века», 2000, №3, с. 144-160.

Обе статьи представлены в его посмертной книге «Связующая нить. Писатели и режиссёры», О.Г.И., Москва, 2002, с. 359-428. Полагаю, что познакомиться с хотя бы отрывками из статей Зингермана, для читателя интересно не только в связи с досадной поводом данных заметок, и потому, признаюсь, с удовольствием сделал выписки из них.

Говоря о способности Любимова «научить театрального артиста воздействовать на публику с эстрадной непосредственностью и силой», Зингерман добавляет: «Нет, не зря именно на таганской сцене играл Владимир Высоцкий, великий бард. До сих пор артисты Таганки вспоминают, какое это было счастье стоять лицом к лицу с публикой рядом с Владимиром Высоцким и чувствовать его плечо. Лицом к лицу с публикой!» (из статьи о Любимове).

Из второй статьи: «экзистенциалистский выбор в спектаклях „Таганки“ (вспомним „Мать“, „Пугачева“, „Высоцкий“) делал не одиночный герой, а ватага, артель, иначе говоря – коллектив единомышленников <...>. Тем самым с героя-экзистенциалиста и с экзистенциалистской темы в целом снималось проклятие одиночества и отверженности. Как это произошло, кстати говоря, и с самим Владимиром Высоцким, его трагической темой и бунтарским героем, они стали народным достоянием, частью народной судьбы.»

Поясним: из здесь упомянутых спектаклей Высоцкий играл только в «Пугачеве» (Хлопушу), а спектакль «Высоцкий» – спектакль памяти о судьбе Высоцкого. Ещё: определение «коллектив единомышленников» используется Зингерманом параллельно «группе лиц», которая, по Мейерхольду, заменила в драмах Чехова главного героя.

В статье о Любимове Зингерман упоминает Высоцкого лишь по необходимости, вскользь. Только об одной роли Гамлета, принципиально важнейшей для театра и для времени, как того, так и нашего, он пишет более подробно, зная проблему глубоко и разносторонне:

«<...> образ надвигающегося безвременя был угадан Любимовым уже в 1971 году <...> в спектакле „Гамлет“ <...>.

В глубине души Высоцкого, чей герой решился на подвиг одинокого неравного противостояния, <...> беспокоила, и тревожила, и требовало, и не находила себе оправдания мысль о насилии – к нему следовало прибегнуть, чтобы покарать зло, – и речи не могло быть о том, чтобы его можно было искоренить. <...> Пока Гамлет, стоя на авансцене, мужественно и энергично читал трагические стихи Пастернака, пока он презрительно отвергал домогательства короля, уязвлял, хотя сердце его обливалось кровью, любимую мать и грубил Офелии, все было понятно. Но дальнее или невероятные сложности. Может быть, и незаметные постороннему взгляду, они изнурияли душу Высоцкого. Он не мог понять, зачем Гамлет, спасись на корабле от смерти, снова возвращается в постылую тюрьмную Данию. Ради

Часть третья. Актуальность творцов

матери? Ради Офелии? Чтобы убивать? Заглушая тайные сомнения, артист с помощью режиссера, как всегда пришедшего ему на помощь, горячился, мальчишничал, надсаживался и распалял себя по ходу действия, чтобы оправдать финальную гору навороченных трупов. Кто знает, как дорого обошлись нашему артисту-поэту противоречия ренессансного гуманизма? Во всяком случае, его внутренние сомнения, пусть едва ощущимые, неосознанно западали в душу зрителей. Следующий, демонстративный шаг в этом направлении сделают под впечатлением левого терроризма и Афганистана Глеб Панфилов и Ингмар Бергман. Каждый в своём стиле, они решительно и сладострастно дискредитируют насильственные действия Гамлета, хотя и совершаемые во имя самоотверженных мессианских побуждений. По сравнению с этими толкованиями трагедии о принце Датском, сделанными уже в другую эпоху, камерный спектакль на Таганке – более веский и более объемный по своему звучанию, он сохраняет в неприкословенности шекспировскую трагическую поэзию, усиленную переводом Пастернака и режиссерскими метафорами Любимова, и шекспировскую героическую тему, усиленную игрой Высоцкого.»

Высоцкий – эстрадный артист

Вспоминая работу Высоцкого на эстраде, уместно начать с большой цитаты из второй статьи Зингермана:

«В лирическом толковании Гамлета и князя Мышкина Скофилд и Смоктуновский продемонстрировали новое понимание трагического. < > Субъективная лирическая трактовка образов очень быстро приобрела характер исповеди и самовыражения артиста. < >

При всей заразительности и эффективности лирического самовыражения оно таило в себе, как выяснилось со временем, некую опасность. Ставши общим поветрием, самовыражение как творческий путь и как прием гораздо непосредственнее могло проявить себя на эстраде, нежели на театральных подмостках. Властителями дум, идолами толпы стали не театральные актеры, а эстрадные певцы, барды и шансонье: Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Алла Пугачёва... Лирическое, личностное начало, в театре неизбежно ограниченное режиссерской трактовкой, на эстрадных подмостках получает всю полноту власти.

Тут начинается новый период театрального развития и появляются новые герои, действующие в атмосфере застоя, ей вопреки. Главными артистическими фигурами этого времени становятся у нас Владимир Высоцкий, поэт, актер, бард, и носитель новых художественных идей – Юрий Любимов.

Высоцкий ответил вызову истории, которому на Западе откликнулось целое поколение молодежи. Как и Любимов, он искал героев не среди хрупких интеллигентных подростков или «высоколобых», а в кругу простонародья, находя здесь душевную опору и свежий колоритный тематический материал.»

Из статьи о Любимове:

«Никогда не следует забывать, что в годы работы на Таганке сложилась личность и поэтическая манера Высоцкого, любимца народа. Трагедийную и саркастическую тему Таганки Высоцкий в своих песнях – это, конечно же, сразу было услышано – разработал в уличном варианте, в крайнем обострении протеста, надрывном и смертоубийственном напряжении вольнолюбивых чувств, уходящих в тогда еще не принятые во внимание, не исследованные и не обнаружившие себя безразмерные народные глубины нашего общества. Как цыганка Маша в „Живом трупе“, Высоцкий поёт и тоскует не о свободе – о воле. Тема вольности определила общественный смысл и игровую природу искусства Таганки.»

Приведённые мысли Зингермана характеризуют общий смысл творчества Таганки, Любимова и Высоцкого в объёме, достаточном для данного отзыва. Как видим, соображения театрального профессионала резко расходятся с колкостями статьи Шойхета.

Теперь вспомним, как пел Высоцкий, более конкретно. Отличаясь от Вертиńskiego гораздо более явным драматизмом ситуаций, часто откровенно сатирических, он следует за ним в мастерстве. (Любопытно, что Высоцкий в кинороли следователя не поёт, а всего лишь напевает фрагмент одной только песни. Песня же эта не его, а Вертиńskiego, и, как говорят, напел он её по своей настойчивой просьбе.) Вертинский и Высоцкий, оба, не только барды, но и замечательные актёры, и выразительность их исполнения несопоставимо выше, чем у бардов и даже профессиональных певцов и актёров, поющих с эстрады (однако, благодарно вспомним Андрея Миронова и молодую Аллу Пугачёву!). Оба обладали широким диапазоном интонаций и умели их уместно

использовать, а Высоцкий ещё и варьировал тембр голоса. Вспомните, как выпевает его вкрадчивый баритон любовные слова:

Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,
Если терем с дворцом кто-то занял!

Вот он умоляет телефонистку, соединить его с возлюбленной:

Девушка, здравствуйте! Как вас звать? Тома!
Семьдесят вторая! Жду, дыханье затая!
Быть не может, повторите, я уверен – дома!
А, вот уже ответили... Ну, здравствуй, – это я!

Здесь Высоцкий произносит имя Тома с таким возвышенным восторгом, как будто допущен в рай. А в последней строчке – сдержанное волнение в замедленно осторожном обращении к возлюбленной.

Но во многих случаях, следуя за напряжением ситуации, голос отчаянно поднимается, захлебывается, чуть ли не срывается в крик.

О слабости музыкальной стороны песен: мелодии, не претендующей на самостоятельную значимость, лишь хорошо поддерживают текст с помощью простейших гитарных аккордов. Музыкальная часть у Вертиńskiego более сложна, как более сложны его персонажи и внутренне ироничны ситуации, а рояль – более мощная поддержка, чем гитара. Последовать такому примеру Высоцкий не мог: его тема более демократична и драматически обнажённее, а обстановка его концертов часто полупоходная. Более того, насколько могу судить, усложнение аккомпанемента не шло ему на пользу, и это слышно в записях нескольких песен под замечательный оркестр Балаяна. То ли дирижёр не сумел подложить оркестр под нестабильное исполнение певца, то ли студийная обстановка, с её необходимостью дисциплины и повторений, лишила Высоцкого того куража, той непосредственности, которым он отдавался на эстраде перед захваченными им слушателями, но результат оказался слабее, чем под собственную простецкую гитару.

Важнейшая особенность эстрадного Высоцкого – многие его такие разные персонажи переживают ситуаций исключительного драматизма. В сочинении ярких драматических миниатюр, изобилующих речами персонажей, ему, по-видимому, помогли выучка и опыт театрального артиста. Если же он сам является персонажем, если драматическая песня становится лирической, если демонстрируется его собственная беда, тогда, на мой взгляд, появляется затянутость и даже банальность. У Высоцкого интересней, когда он представляет свое-

обычных лиц, когда он и сочувствует им, и иронизирует над ними, чем когда ему жалко самого близкого персонажа – себя.

Смею предположить, что в иных обстоятельствах и в более длинной жизни Высоцкий перешёл бы от драматических песенных миниатюр к более крупной форме, где его многочисленные персонажи спели бы свои частные драмы в одну общую, и что этот переход дал бы России значительного драматурга.

Песни Высоцкого

Герои его песен не совсем высокообразованы, некоторые не симпатичны, многие наивны, часто деятельны, порой – до суевества, и почти все они ищут выход из своих трудных обстоятельств. Они описывают свои трудности удивительно меткими словами, и строки крепко организованы ритмом и резкими, подчёркнутыми рифмами. Напомню только о некоторых из них, самых запомнившихся.

Вот мечтатели о мести. Лагерник из воровской шайки готовится мстить предателю:

Ещё я сохранил немало сил,
Он думает отсюда нет возврата,
Он слишком рано нас похоронил,
И вы его отдайте мне, ребята.

Парень угостил в поезде стукача, пьяный «о чём-то рыдал, оплакивал», и «ему пришили дельце по статье уголовного кодекса»:

А потом плохую дают статью,
Говорят, ничего, Вы так молоды.
Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью,
Он бы хрен доехал до Вологды.

Все обиды мои годы стёрли,
Но живу я теперь, как в наручниках,
Мне до боли, до кома в горле
Нужно встретить того попутчика,
Но живёт он в городе Вологде,
А я на Севере, а Север вона где.

Широко представлены спортсмены и их заботы о славе, которые им представляются жизненными драмами. (А у Бориса Слуцкого:

Мелкие пожизненные хлопоты
По добыче славы и деньжат

К жизненному опыту
Не принадлежат.)

Конькобежец, тренированный на короткие дистанции, подробно вспоминает свой провал на длинной и последствия этого:

Десять тысяч и всего один забег
остался,
В это время наш Бескудников Олег
зазнался,
Я, де, болен, бюллетеню, нету сил,
и сгинул,
Вот мой тренер мне тогда и предложил,
беги, мол.

Совсем тупой чемпион по метанию молота: «Приказано мятать, и я мячу.» Боксёр, едва не проигрывает встречу:

При счете „семь” я все лежу,
Рыдают землячки.
Встаю, ныряю, ухожу,
И мне идут очки.
Неправда, будто бы к концу
Я силы берегу, –
Бить человека по лицу
Я с детства не могу.

Но думал Буткеев, мне рёбра круша:
„И жить хорошо и жизнь хороша!”

В конце песни сентенция Маяковского иронически переворачивается:

Вот он ударил раз, два, три –
И сам лишился сил.
Мне руку поднял рефери,
Которой я не бил.
Лежал он и думал, что жизнь хороша.
Кому – хороша, а кому – ни шиша!

Исключительно беспроблемно, в бодром стиле поётся издевательская песня о пользе гимнастики, сидения и прочем. Под неё как сопровождение гимнастике маршировала вся страна:

Разговаривать не надо!
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми.

Если только вам неймётся,
Приседайте, где придёться,
Водными займитесь проце-дурами.
Если только вы устали,
Сели-встали, сели-встали.
Не страшны нам Арктика с Антарктикой!
Хорошо! Среди бегущих
Первых нет и отстающих.
Бег на месте общепримиряющий.

О семейных раздорах. Высоцкий на два голоса представляет, как Зина, видя на экране телевизора разные соблазны и аналогии, упрекает мужа. Он отругивается. например, так:

Ты, Зин, на грубость нарываешься,
Все, Зин, обидеть норовишь!
Тут за день так накувыркаешься.
Придешь домой – там ты сидишь!
Ну, и меня, конечно, Зин,
Все время тянет в магазин,
А там – друзья... Ведь я же, Зин,
Не пью один!

Упрёки влюблённого мужа:

Вспомни, было ль хоть разок,
Чтоб я из дому убег?
Ну когда же надоест тебе гулять?
С гаражу я прихожу,
Язык за спину заложу
И бежу тебя по городу шукать.

Упрёки мужа каменного века:

А все – твоя проклятая родня!
Мой дядя, что достался кабану,
Когда был жив, предупреждал меня:
Нельзя из людоедок брать жену!

Страстная, жертвенная, наперекор всему любовь к шлюхе Нинке:

Сегодня я с большой охотою
Распоряжусь своей субботою
И, если Нинка не капризная,
Распоряжусь своею жизнью я.

Вспомним иронические истории. Брат уговаривает рассказчика подменить его «у психов»:

И по выходке, и по роже мы
Завсегда с тобой были схожи мы.
Тебе же нет в Москве вздоха-продыха,
Поживи ты здесь, как в доме отдыха.

И началась жизнь с фантастическими и зловещими ассоциациями:

Я иду и размышляю, не спеша,
То ли стать мне президентом США,
То ли взять, да и закончить ВПШ.
А у психов жизнь – так бы жил любой:
Хочешь, спать ложись, хочешь, песни пой –
Предоставлена им вроде литеры
Кому от Сталина, кому от Гитлера.

Для уже забывших: ВПШ – высшая партийная школа ВКП(б) и КПСС.

Обучение в ней становилось хорошим подспорьем карьеры.

А Мишка Шифман рвётся в Израиль и уговаривает ехать рассказчика Колю. Расклад такой: у Мишки

Дед параличом разбит, –
Бывший врач-вредитель...
А у меня – антисемит
На антисемите.

И этого Мишку, в отличие от Коли, «за графу не пустили – пятую.» А другой персонаж формулирует на эту тему тяжёлый афоризм:

Зачем мне считаться шпаной и бандитом –
Не лучше ль податься мне в антисемиты:
На их стороне хоть и нету законов, –
Поддержка и энтузиазм миллионов.

Высоцкий создал несколько драматических песен о людях на войне. Напомню, на мой взгляд, две самые сильные. В них сражается лётчик-истребитель вдвоём со своим другом – ведомым:

Их восемь – нас двое. Расклад перед боем
Не наш, но мы будем играть!
Сережа! Держись, нам не светит с тобою,
Но козыри надо равнять.

Сегодня мой друг защищает мне спину,
А значит, и шансы равны.

Сергей! Ты горишь! Уповай, человече,
Теперь на надежность строп!
Нет! Поздно! И мне вышел мессер навстречу.
Прощай! Я приму его в лоб.

Я знаю – другие сведут с ними счеты.
А по облакам скользя,
Взлетят наши души, как два самолета, –
Ведь им друг без друга нельзя.
И я попрошу Бога, Духа и Сына,
Чтоб выполнил волю мою:
Пусть вечно мой друг защищает мне спину,
Как в этом последнем бою.

О том же бое рассказ ведётся от имени самолёта-истребителя:

Я – "Як"- истребитель, мотор мой звенит,
Небо – моя обитель,
Но тот, который во мне сидит,
Считает, что он – истребитель.

Вот сзади заходит ко мне Мессершмидт.
Уйду – я устал от ран,
Но тот, который во мне сидит,
Я вижу, – решил: на таран!
Я – главный, а сзади... Ну чтоб я сгорел!
Где же он – мой ведомый?
Вот он задымился, кивнул и запел:
"Мир вашему дому!"»

Этот итог гибельных обстоятельств в виде миролюбивого восклицания – поразителен.

В связи с этими песнями позволю себе замечание относительно статьи, послужившей поводом для этих заметок. Согласно ей, военные песни Высоцкого – «песни действительно талантливые», но им «не нужна была жестокая правда баллады А. Галича.» Общепонятно, что принижать одного художника сравнением с другим – совсем не лучший метод критики. (Галич сочинил замечательные гражданственные песни, но ещё сильнее он, человек театра, всё-таки не в риторике, а как драматург – в простеньких как будто песнях о злоключениях мужа Парамоновой, о том, как «на кладбище всё спокойненько» и т.п.) Хуже, однако то, что статья обвиняет эти песни в том, что они «грели душу <...> радостно принявших эту мифологию, эту сказку о героях»

изме целого поколения». Тут очень неаккуратно вовсе не сказочный, а реальный героизм смешан с мифологией. Главное же в этих песнях – не героизм, а поступки конкретных людей в труднейших обстоятельствах борьбы и гибели, и это оказалось не замеченным.

В песне о воздушном бое пронзительно звучат киплинговские мотивы долга, мужества, дружбы, даже – радости вместе выполняемой гибельной работы. В этой песне – страстный монолог лётчика, который знал дружбу, отдал силы сохранению друга и всё же потерял его, но в нём теплится надежда где-то там соединиться с ним. Трагедии этого парня невозможно не сопереживать, и в этом сила искусства.

В заключение, вспомним две особенно трагические песни. Тяжёлый монолог начинается с просьбы, звучащей потом рефреном:

Протопи ты мне баньку по-белому –
Я от белого света отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развязает язык.

В баньке он почти стонет, и есть от чего:

Вспоминаю, как утрецком раненько
Брату крикнул: "Семье пособи!"
И меня два красивых охранника
Повезли из Сибири в Сибирь.

А потом на карьере ли, в топи ли,
Наглотавшись слезы и сырца,
Ближе к сердцу кололи мы профили
Чтоб он слышал, как рвутся сердца.

Эта наколка профиля Сталина неотвязна, но к концу сквозь стон пропадает оценка и даже почти ирония:

Застучали мне мысли под темечком,
Получилось, – я зря им клеймен,
И хлещу я березовым веничком
По наследию мрачных времен.

В другой песне мерно, неотвратимо разворачивается образ страшной дороги. Движение песни ведёт к предельному отчаянию отрицания:

Вдоль дороги – лес густой
С Бабами-Ягами,
А в конце дороги той –
Плаха с топорами.

И ни церковь, ни кабак –
Ничего не свято!
Нет, ребята, все не так,
Все не так, ребята!

В заключение

Анна Ахматова в 1961 году в эпиграфе к Реквиему, созданному ею в память проведённых в 1938 году «17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде», написала:

Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Эти многозначащие слова, в которых по-царски употреблено «мой народ», вполне можно отнести и к Высоцкому.

Высоцкий был драматическим артистом, а также создателем песен-новелл драматического содержания и их по-актёрски ярким, выразительным исполнителем. Среди театралов он ценился, прежде всего, как артист, игравший ответственные роли в одном из замечательнейших театров страны и мира – в театре «Таганка» Юрия Любимова. В более широком круге страны он был известен как исполнитель своих песен, от комических, сатирических до трагических, и артист немногих кинофильмов. Оба поприща принесли ему широчайшее признание народа. Он был с народом, понимал его, творил для него, был признан народом гражданственным выразителем своего, родного – всего, что «не так».

В сорокалетие смерти Высоцкого уместно и приятно с великой благодарностью вспомнить его творчество и поклониться его памяти.

Глава 3

Два письма И.Г. Эренбурга

Письмо Людмиле

Перебирая переписку моей покойной жены Людмилы, я натолкнулся на любопытное письмо Ильи Эренбурга, полученное мною, судя по почтовому штемпелю, 19.12.1957. Письмо слабо отпечатано на листе тонкой бумаги (подпись сделана ручкой), свёрнутом вчетверо. Воспроизвожу текст в точности.

«Милая Людмила,

на Ваш вопрос и очень легко и очень трудно ответить. Мне кажется, что лучшие всего ответят на этот вопрос классики. Читайте Толстого, Горького, Достоевского, а также Стендэля, Диккенса, Бальзака и других. Страйтесь думать о том, что прочитаете. Может быть заведёте дневник и будете записывать, сравнивать с тем, что наблюдаете и переживаете сами.

В чувствах нужно быть требовательной и к себе и к другим. Конечно же, большая любовь проходит через любую жизнь, но порой человек не сразу разбирается: принимает малое, преходящее за большое и наоборот. Любят и некрасивых и «обыкновенных», главное уметь найти в самом обычном необычное – у человека под шелухой скрыто много большого и ценного.

Ходите в музеи и думайте тоже над живописью. Изучать историю искусства интересно, но прежде всего нужно узнать и полюбить искусство.

Я Вам желаю, Людмила, всего самого доброго.

И. Эренбург»

В то время Людмиле шёл 22-й год, она была студенткой четвёртого курса МЭИ, готовилась к зимней сессии, дружила со своим одноклассником и сокурсником, решалась на замужество с ним; этот брак был заключён через два месяца. Всё это – на фоне больших перемен в стране и в обстоятельствах жизни её семьи. Копию своего обращения к Эренбургу Людмила, конечно, не оставила, но то, что её беспокоило

и что он вычитал из её письма, можно понять по написанному им. Известно, что Эренбург получал много очень разных писем, а в этом случае он, писатель, видимо, легко понял, что написала его девушка умненькая, ищущая путь, чистая сердцем, и это его тронуло. Судя по тому, как письмо плохо отпечатано, он не только подписал его, но и написал сам.

Показательно, что Людмила обратилась за советом не к родителям, подругам или к будущему мужу, не к каким-либо другим известным авторитетам, а именно к Эренбургу. Из полученных советов по крайней мере два пришли ей по характеру: много читать и быть снисходительной.

Через десятилетия, не имея понятия о былом участии Эренбурга в жизни моей будущей спутницы, я тоже обратился к нему, теперь к памяти о нём, – чтобы посильнее защитить её. Не от сталинистов или антисемитов – нет, они и без меня ясны, а от вовсе новомодного поругания со стороны современных чистоплюев, не знающих прошлого и путающих настояще со светлым будущим, как будто оно уже наступило. Долго терпел, но однажды очередное газетное охаивание так меня возмутило, что я написал довольно резкую отповедь («Книга XX век», стр. 138-150).

Людмила была полностью в курсе и этого сочинения, но тогда о своей былой переписке с Эренбургом не вспомнила. Я натолкнулся на его письмо, как сказано, позже.

Письмо Сталину

Недавно в газете «Еврейская панорама» опубликован большой очерк, приуроченный к 130-летию Эренбурга. Автор – Соня Тучинская. Сразу выскажу общее впечатление о её текстах: она ищет справедливости, пишет с лучшими намерениями, но, на мой вкус, потрафляя читателю, – несколько поверхностно, доверительно и стилистически развязно, т.е. как теперь принято многими.

В очерке много места удалено письму Эренбурга Сталину, датированному 3-м февраля 1953 года. Оно легло на стол адресата числа 10-го того же месяца и, вероятно, вызвало у него некоторое сомнение в тактике продвижения к высылке евреев на Восток, к катастрофическому погрому. Пока он сомневался, 1-го марта в дело вмешался инсульт, и 5-го было объявлено о смерти. Пафос опубликованного – в

духе «рука Всевышнего отечество спасла»: мол, спасла евреев заминка, созданная письмом Эренбурга, и, вдобавок, как раз наступил праздник Пурим, которым отмечается давнее спасение народа евреев от козней злодея. (Напомню мнение, что рука Всевышнего для этого выбрала Берию.)

Казалось бы, ничего, кроме восхищения мужеством обращения к задумавшему зло жесточайшему диктатору и умением посеять сомнение в нём, этот поступок вызвать не может. Но автор очерка приписывает Эренбургу *«конформизм самого непростительного свойства»*, пишет, что *«в своём иезуитски вежливым письме»* он применил *«хитроумные доводы»*, и решительно формулирует компромиссный приговор: *«герой-приспособленец»*.

Очеркист Тучинская судит о жизни Эренбурга свысока, она морально выше и Эренбурга, и его поступков и оттого иронично строга. К нему, но не к себе. Она знает о времени Эренбурга лишь понапышике и выбирает слова для своих упрёков небрежно. Поясню. Конформист и приспособленец не пишет диктатору опаснейшего письма с возражениями относительно того текста, который на несчастье евреев подготовлен для тяжественной публикации его лакеями, возможно, по его же поручению. Но, к счастью для евреев, текст составлен длинно, сыро и поэтому уязвим. Эренбург облёк своё письмо в форму просьбы о сталинском совете по поводу своих сомнений в этом тексте, написал деловито, вежливо, но без обязательных для того времени восхвалений, в понятном этому адресату чётком стиле, в почти его стиле, доходчиво. Доводы опираются, как и следовало, только на сталинскую же пропаганду и нисколько не хитроумно вскрывают противоречивость текста. Что же касается термина *«приспособленец»* – он взят из маxрового ругательного сленга сталинского времени.

Очеркисты и Эренбург

Как часто очеркисты хотят проявить себя, наводя тень на значительного деятеля прошлого! Они предлагают читателю приятно возволнить себя вровень с уничижаемым деятелем, а в чём-то и выше его, моральное. Так и кажется, что, будь очеркист или увлекаемый им читатель на месте этого деятеля, они проявили бы там всю высоту свободной личности, не говоря уж о бескомпромиссности и жертвенности.

Между тем, давно известно веское соображение, что творца нужно судить и ценить по уровню вершин его дела и по меркам его времени. Слабости же, такова жизнь, были и есть у каждого, и у Наполеона, и у Льва Толстого, и у Эйнштейна. Очеркистам же выгодно смаковать именно слабости, поскольку есть потребитель – как выразилась М. Цветаева, «глотатели пустот».

Замечу, однако: творчество былых людей анализируют историки и специалисты в соответствующем деле, а личности творцов, включая и слабости, – вовсе не табу, а важный предмет изучения психологов и социологов.

Так вот, Эренбург писал и действовал много, наверное, не раз ошибался. А славен прежде всего двумя достижениями: романом о Хулио-Хуренито (1921 г.) и воспоминаниями «Люди, годы, жизнь» (1961-67 гг.). Важные черты той жизни проницательно и, насколько было допустимо, чётко зафиксировал романами «День второй» (1933 г.), «Падение Парижа» (1942 г.) и «Оттепель» (1954 г.). Вместе с Василием Гроссманом в конце войны создал первую книгу о Холокосте: «Черная книга» (опубликована много позднее). Написал несколько замечательных стихотворений, антифашистских памфлетов и путевых заметок. Всё это и останется в памяти потомков.

И на редкость мужественное письмо Сталину – тоже.

Видно, не зря Людмила выбрала советчиком именно Эренбурга.

Текст данной главы опубликован в газете «Еврейская панорама» за июнь 2021 №6 (84) как письмо читателя.